

СОДЕРЖАНИЕ

I. Предпосылки исследования

Концы и начала	8
--------------------------	---

II. Литература

Критическая антропология Достоевского	38
Часть первая. В преддверии больших романов	38
Часть вторая. Романый цикл	64
Часть третья. Внутренний мимесис	90
Время в романах Набокова и в философии МакТаггарта	117
Экспериментальная семья в прозе Набокова: от «Камеры обскуры» к «Лолите»	143
Выживание-через-смерть: 1920–1930-е годы	188
Московский концептуализм и исторический авангард, или Деконструкция деконструкции	217

III. Кинолитература, кино

Как Владимир Набоков обманывал читателей: «Соглядатай» — повесть об экранизации литературы	244
«Весна» Григория Александрова как <i>parodia sacra</i>	273
Экскурс: к теории пародии	284
Киноискусство и <i>regressus ad infinitum</i>	295

IV. Этноистория

Русь святая	332
Подорванный ритуал. Наш особый путь	360
Первые публикации	385
Список иллюстраций	386
Указатель имен	388

I. Предпосылки исследования

КОНЦЫ И НАЧАЛА

1

Мне предстоит затронуть предмет, столь же неохватный по смысловому объему, сколь и мало исследованный. На вопрос, почему второе начало, о котором пойдет речь, ускользает от изучения, может быть дан только один ответ: потому что оно неотчуждаемо от нас, будучи нашей неотъемлемой собственностью — той, которую человек постоянно объективирует, не желая при этом признать, что она — его субъективное достояние, его способ бытия-в-мире. В качестве объективируемого второе начало входит обязательным компонентом в состав самых разных социокультурных практик — повседневных, идеологических, политико-организационных, технологических, эстетических и прочих. Оно, однако, утаивает себя, прячась от теоретизирования, как конституирующее субъекта, который вовсе не хочет быть финализированным, помысленным в своей завершаемости, что произошло бы в том случае, если бы его основа подверглась выявлению и объяснению. Субъект есть второе начало бытия, другое сущее, открывшееся себе, перешедшее в становление. Он замалчивает свою интенцию, чтобы оставаться действенным, чтобы быть.

Инициативно удваивая бытие в сознании-различении такового, человек отказывается согласиться со своей конечностью. Там, где есть второе начало, нет заключительных состояний. Ординарное начало с неизбежностью упирается в собственное отрицание. Какой бы ни была характеристика элемента, идущего в некоей последовательности за первым, он упраздняет начинательность в принципе и тем самым подразумевает ее полную исчерпаемость, пусть он даже

и не оказывается последним в ряду. Со своей стороны, бесконечность предполагает, что она безначальна. Продублированное начало противостоит и финитности, и инфинитности. Оно отнимает предвещание конца у продолжения, в котором всякий шаг, следующий за первым, может стать последним, и помещает нас в незамкнутое пространство-время, применительно к которому вопрос о его пределе гасится, будучи подвергнут диалектическому снятию. Мы не знаем с полной уверенностью, как перспективирован этот хронотоп. Он выступает не вполне определенным для нас и вместе с тем неотрывно сопричастен нам, дающим бытию отправной пункт, которого у него до того не было. Та область, которую порождает второе начало, делается предметом веры более, чем знания. Человек получает, таким образом, в свое распоряжение инструмент борьбы с непреодолимым на деле — со смертью. Мы верим, что от нее можно спастись, если переиначить наше естественное происхождение (например, в обрядах инициации и крещения).

Преследуя сотериологическую цель, человек покидает природу, чтобы пересоздать ее в возводимой им социокультуре. В животном царстве второе начало совпадает с первым, коль скоро действия здесь навсегда запрограммированы инстинктом. Главная задача, решаемая в анималистической среде, — обзаведение потомством, т. е. возвращение к точке, от которой отсчитывается жизненное время особи. Даже если животное подходит к встающей перед ним проблеме изобретательно (скажем, используя орудия и всяческие уловки), оно извлекает из этой инициативы тот же результат, какой был бы получен в случае рутинного поведения, уравнивая тем самым разные начала относительно их назначения. В человеческом мире второе начало альтернативно первому как творящее до того небывалую реальность, не имеющую ничего общего с биологической необходимостью. Социокультура входит, как минимум 200 000 лет тому назад, в свои права в культе захоронений и предков, предполагающем, что, кроме бытия, есть и инобытие, простирающееся за порогом смерти. Живые подчиняют себя установке, состоящей в том, чтобы попить смерть смертью (например,

посредством приготовления мясной пищи на огне), очищать от Танатоса также ближайшую реальность. То обстоятельство, что второе начало делегируется в примордиальной социокультуре мертвым, объясняет, почему после появления на свет *homo sapiens* на долгие тысячелетия застыл в роли охотника и собирателя в своей посясторонней активности, никак не обновляемой, стереотипной. Историчны усопшие; в дополнительном распределении к ним существование живых неизменно. Отголосок этого первобытного положения дел докатывается до Нового и Новейшего времени, как бы оно ни надеялось в своем неоправданном высокомерии быть рационально поступательным и только таким. Большинство людей и по сию пору участвует в истории в роли ее пассивных восприимчивых (если не считать революционных ситуаций), тогда как ее производство узурпируется элитами. История при этом очень часто моделируется в виде генерируемой не ее субъектом, а какими-то внеположными ему анонимными силами, будь то Марксовы производственные отношения, геополитические факторы или постмодернистские дискурсивные практики, сводящие на нет авторство. История с подобной точки зрения мертвит человека.

Переход от истории мертвых к истории живых совершается так, что устанавливает эквивалентность между теми и другими. Мифоритуальное общество заимствует у предков вчиненный им *modus vivendi* — быть в инобытии. Чтобы стать полноценным членом такого общества, человек обязан испытать символическую смерть в посвянительной церемонии, расстаться с данным ему от рождения телом, которому наносятся увечья, и обрести новую — как бы постмортальную — идентичность. Универсум тех, кого нет здесь и сейчас, и его зеркальное отражение в актуальной социальности связываются между собой отношением обмена. Из равносилности двух вторых начал — нездешнего и здешнего — следует, что все, что ни есть, представляет собой продукт творческого акта, демиургического деяния. Оно отчуждается от человека, коль скоро тот обнаруживает первоисток всего сущего, теряя себя, отрицая свое витально-непосредственное присутствие в мире. Человек приобретает времени творения косвенным

способом — как рассказчик мифа о пангенезисе и его отдельных проявлениях. Повествование делается неотъемлемой частью социокультуры в той мере, в какой она отодвигает свою историю в прошлое, определяющее собой современность.

Свою главную функцию мифоритуальное общество усматривает в периодическом восстановлении акта творения. Разыгрывая демиургическое деяние в обрядовых постановках, архаический коллектив сопереживает его не только опосредованно, как в случае рассказывания мифов, но и напрямую, во плоти. Обряд сторицей компенсирует человеку понесенную им самоутрату, наделяя его сверхчеловеческими магическими способностями. Партиципировавший смерть человек продолжает, тем не менее, свое существование. Он спасен парадоксальнейшим образом — как соучаствующий в деятельности загробного общества. Подобно тому как он присутствует-в-отсутствии, первоисток — это такое прошлое, которое не только удаляется от настоящего, но и приближается к нему, входит в него, осовремениваясь. Время творения, уходящее от нас, чтобы вновь наступить, циклично. *Homo ritualis* принимает на себя роль хранителя абсолютного начала и гаранта его неиссякаемости. Называя человека «стражем истины бытующего»¹ и «пастухом бытия»², Мартин Хайдеггер по сути дела требовал, чтобы наше мышление отпрянуло к той его стадии, на которой оно было прежде всего озабочено сохранением сущего в его первозданной доподлинности — в качестве *arché*. В этом Хайдеггер разделял умонастроение многих своих современников (как, например, Мирча Элиаде), бывших охваченными в период между мировыми войнами тоской по онтологической, не операционально-исторической начинательности (то была именно ностальгия, возникшая в руинах раннеавангардистского проекта по переписыванию всей социокультуры с чистого листа и ставшая регрессивным отзвуком на эти потерпевшие крах футурологические чаяния).

¹ *Heidegger M. Gesamtausgabe. Frankfurt a/M., 2005. Bd. 70. Über den Anfang [1941]. S. 30.* Далее в этом разделе ссылки на данный том приводятся в тексте с указанием номера страницы.

² *Heidegger M. Brief über den Humanismus [1946] // Heidegger M. Gesamtausgabe. Frankfurt a/M., 2004. Bd. 9. Wegmarken. S. 331.*

На первых порах (около 30–40 тысяч лет тому назад) потусторонний самому себе мифоритуальный социум утверждает свое нахождение в другом, нежели данный, мире, изобретая искусство (пластики, наскальной живописи, музыки). Являя собой особую реальность, не совпадающую с эмпирической, оно, однако, не замкнуто в себе, не самоцельно, а функционально нагружено, будучи посвященным предкам, апеллирующим к ним и за счет этого сакрализованным. В порядке обмена с родоначальниками коллектива, от которых протекает его прокреативная (соматическая) мощь, оно отвечает им артистической рекреацией тел, удваиваемых в своих изображениях, звукоритмически пересоздаваемых за счет использования музыкальных инструментов (древнейший из тех, что дошли до нас, — флейта, найденная в карстовых пещерах Швабских Альп). Со всей несомненностью возврат предкам в художественной форме их плодovitости запечатлевают распространенные по территории всей Европы палеолитические веныры — фигурки с утрированными женскими признаками, т. е. приуроченные к рождению потомства, символизирующие *потенцию* жизненного изобилия — ту, что квалифицирует отсутствующих здесь и сейчас основоположников рода. По-видимому, искусство не случайно сформировалось в покрытой ледниками Европе: поворот человека к выстраиванию эстетической альтернативы к повседневности не произошел бы, если бы не был обусловлен его стремлением ликвидировать дефицит, отличавший естественную обстановку, в какую он попал. Своей полноты мифоритуальное общество достигло 10–12 тысяч лет тому назад в ходе неолитической аграрной революции, сменившей эстетическую, утилизовавшей инобытийность так, что она стала приносить практические выгоды, опрокинувшей ее в природу, в которой *ordo artificialis* (возделывание почвы и одомашнивание животных) принимается замещать собой отныне *ordo naturalis*. Глубокий смысл ритуализованной строительной жертвы в том, что она отражает в себе вырастание человеческой созидательности из работы со смертью.

Собственно история (та, в которую мы ввязаны по сию пору) была запущена в движение переориентацией ритуала

с восстановления общезначимого прошлого на предвидение столь же, как оно, генерализованного будущего. Инсценированная в обрядовом спектакле история творения более не наталкивается в настоящем на свой непроходимый рубеж, но переступает его, распространяясь на время, которого пока еще нет. Будущему предоставляется такое же право на преобразовательность, каким обладал отправной момент прошлого. На ранней стадии постепенно нараставшего историзма ожидание подобного будущего выносится за границы чувственно воспринимаемой реальности. Земное настоящее обожествленных правителей Двуречья и Древнего Египта выводится из их грядущего небожительства, из предназначенной им принадлежности к сугубо мыслительной сфере. Их положение в наступающем времени симметрично тому статусу, который социокультура всегда отводила могущественным предкам. Фараоны инцестуозны, потому что они сразу и предки, и потомки (т. е. навсегда закрепощены в одной и той же семье). Но даже простой перенос взгляда современности, направленного в прошлое, на будущее был чреват радикальным обновлением социокультурного уклада. Тот, кто уже сейчас обеспечен из будущего высоким рангом предка, облекается при жизни тем всевластием, которое до того было привилегией родоначальников кланового общества. Безгосударственность этого общества явилась следствием локализации верховной власти по ту сторону от наличной здесь и сейчас социальной организации. История в узком значении слова (в каком оно и будет употребляться мной в дальнейшем) берет старт вместе с огосударствлением коммунального обихода и тем самым с первых же шагов выказывает претензию на всю полноту своего господства над человеком. Почему спасение в жизни-из-смерти, в обмене с покинувшими нас оказывается неудовлетворительным для человека, втягивающегося в горячую историю? Потому что оно несовершенно, допуская, что есть зона неизвестного или, вернее, известного не совсем точно — завтрашний день, который может быть и таким же, как современность с ее репродуцированием акта творения, и — своей принципиальной неконечности — разнящимся с ней. В каких обстоятельствах

ритуал мутирует так, что становится двуликим, обращенным не только к тому, что было, но и к тому, чему предстоит быть? В тех, в каких в аграрном обществе, бытующем в циклическом времени, накапливаются иерархические расхождения социальных позиций. Для объединения лиц, ведущих пост-мортальное существование, наименее репрезентативны женщины — подательницы жизни, возобновляющие ее вопреки символическому порядку, который требует, чтобы она была прервана ради прорыва в инобытие. Преимущественное место в обществе достается мужчинам, отдающим семья-жизнь противоположному полу, как бы жертвующим собой. Историзм вызревает в мужских тайных союзах, которые погружают юношей во временную смерть, обещающую им регенерацию и бессмертие. Доминирующие в социореальности мужчины (агрессивные, поскольку таят в себе смерть) заинтересованы в том, чтобы увековечить в диахронии свое репрезентативное для общества в целом положение, чтобы сообщить своей власти династический (наследственный, патрилинейный) характер. История маскулинизирована в своем происхождении и продолжала быть таковой вплоть до последних десятилетий, запоздало пытающихся изменить ее однополость в феминистском протесте против патриархальной (или, что одно и то же, огосударствленной) социокультуры.

Симметричное прошлому будущее получает безраздельное превосходство над тем, что было, вместе с выходом на историческую сцену христианской религии, преодолевающей культ предков верой в спасение, которое несет с собой Сын Божий. Карл Лёвиг определил явление Христа как «*perfectum praesens*»¹, что вряд ли верно. Искупая первородный грех человека жертвенной смертью-воскресением и таким образом отменяя всё бывшее, Христос помещает людей в, так сказать, несовершенное настоящее, в промежуточное время, остающееся до Его Второго пришествия и апокатастасиса — до обретения смертными жизни вечной. Прошлого уже нет, будущего нет пока еще. Только в этом интервале

¹ Löwith K. Weltgeschichte und Heilsgeschehen [1949]. Dritte Auflage. Stuttgart, 1953. S. 168.

между двумя отсутствиями и можно иметь ту *свободу* воли, которую христианство дарит человеку. Идея загробного воздаяния неоригинальна в христианстве, мало чем отличаясь от древнейших представлений о непрерывившейся жизни покинувших мир сей. Подлинно новое слово религия Сына Божьего произносит в учении об апокатастасисе. В период своего первого подъема историзм жаждет утвердиться раз и навсегда — так, чтобы исключить дальнейшие изменения в своем будущем, которое рисуется ему разверзнутым в им-мортальность, в ультимативное спасение, не нуждающееся ни в каких коррективах. Набирая обороты, история удваивает второе начало, которое случается как здесь и сейчас, в первом пришествии Христа, так и там и потом — в Его грядущем возвращении к людям из царства Бога-Отца. Будучи продублированным, произошедшим и ожидаемым, второе начало превращается из само собой разумеющегося действия по интуиции в факт общественного сознания, в ментальную реальность. Зачинщиком этой рефлексии стал апостол Павел, и воплотивший второе начало в пережитой им, некогда язычником Савлом, метанойе, и призвавший людей в своих посланиях сделаться иными, чем они были, обитающими не в теле, а в духе, поступающими не по закону, а по благодати Господней: «не все мы умрем, но все изменимся» (1-е Кор. 15: 51). По возникновении христианство — историзм в максимуме: в своей отданности в распоряжение потомкам (детям, наследующим Рай небесный), в своем стремлении очутиться в таком будущем, каковым исчерпается течение времени. Новозаветный историзм покоряет социокультуру как сразу линейный (раз рождение Богочеловека беспрецедентно) и циклический (раз Сын Божий снова объявится на земле). Но цикличность в христианском хронотопе приходит не из минувшего, как в мифоритуальном обществе, а в виде до сих пор небывалого, оказываясь, можно сказать, памятью о будущем. Повторение подчиняется теперь неповторимому, оно также беспримерно, как и событие в линейном времени. Как никому другому, эта особенность христианского историзма открылась Сёрену Кьеркегору в его сочинении «Повторение» (1844), отрицавшем ретроактивность без сдвига, пока время

не пресуществилось в вечность, не стало сугубо репетативным. В Ветхом Завете история была результатом похищения человеком компетенции Бога-Творца, присвоения себе тварными существами демиургического знания. В этом плане библейские тексты являют собой метанарратив к воспроизведению прошлого (демиургического деяния) в надвигающемся времени, к стадии перехода от мифоритуального мышления к историческому. Человек в этом метанарративе отчуждает созидательную способность от Того, кому она имманентна. Он погружается в трансцендентность (историчность) не *in propria persona* (его пророческий дар — от Всемогущего). В фигуре Христа новозаветная религия наметила путь к снятию значимой для Ветхого Завета оторванности креативности от человека в его собственной сущности. Трансцендентность имманентна Сыну Божьему. Он историчен в-себе. Он инкорпорирует передвижку от теогенного к антропогенному, олицетворяя собой ее порог. Формирующееся христианское мировидение если еще и не предоставляет человеку как таковому права на самостоятельное производство истории, то, по меньшей мере, направляет его в эту сторону, давая ему в образец Богочеловека.

2

Здесь не место проследивать в деталях дальнейшие исторические витки Нового времени. Важно, однако, отметить, что второе начало, вводимое в действие снова и снова, маркирует эпохальные сломы, разграничивающие следующие одна за другой большие диахронические системы — раннего Средневековья, позднего Средневековья, Ренессанса, барокко, Просвещения и т. д. вплоть до нашей современности, пустившейся в рост в 1960–1970-х годах. Каждая из эпох сопротивляется наступлению очередного периода, вытесняющего ее из актуальной исторической действительности. Такого рода препятствование образованию нового становится в христианском мире впервые бросающейся в глаза социокультурной тенденцией на излете раннего Средневековья, когда Иоахим Флорский выдвигает в конце XII века историческую модель

трех царств — Отца и брачных тел, Сына и плоти вместе с Духом, чистого Духа, торжествующего в монашестве. Иоахим прибавляет к двум началам третье, дабы положить предел историческим трансформациям, замкнуть их — накануне возмущения, грозящего ветшающей системе смысла, — в изображении такого состояния человека, которое более не может быть подвергнуто перестройке. Ревизуя исконную христианскую доктрину, Иоахим ставит на место передачи власти над историей от Отца Сыну и, значит, производительности во времени господство монашеского образа жизни, т. е. бегства из темпорального порядка в атемпоральность. В последующем триадические схемы, прилагаемые к истории, будут специфицировать ее финалистское осмысление (например, у Гегеля)¹.

Все эпохи, имплицитованные становлением христианства, стремятся быть последней фазой в истории, защищаясь от переименования, потому что они ее части, порожденные, однако, всеобщим в ней, сплошь ее фундамирующим секундарным генезисом. Они претендуют на всезначимость по происхождению вопреки парциальности по функционированию. Любое новое второе начало не совпадает с предыдущим в своем логико-семантическом наполнении². История продвигается вперед, трансформируя уже достигнутую ею инобытийность и тем самым постоянно отыскивая Другое Другого — такую эпохально-смысловую конфигурацию, элементы которой связываются между собой ранее неизвестным способом. Но как раз всегдашняя инаковость *второго* начала и обеспечивает ему самотождественность, делает его, как это ни парадоксально, одним и тем же, несмотря на разнящиеся между собой стадияльные манифестации. История циклолинейна постольку, поскольку она и репродуцирует инвариантный в ней секундарный генезис, и варьирует его в поступательной манере. Чем чаще история выражает себя частноопределенным образом, тем более убывает тот

¹ К влиянию Иоахима Флорского на историософию и на исторические упования Нового времени ср.: *Bloch E. Das Prinzip Hoffnung* [1938–1947]. Frankfurt a/M., 1959. Bd. 2. S. 590–598.

² О том, каково это содержание на разных этапах истории, см. подробно: *Смирнов И. П. Превращения смысла*. М., 2015. С. 181 след.

максимум, которого она добилась в первые века христианства (чему соответствует обозначившееся в Ренессансе XV–XVI веков и затем продолженное ускорение сдвигов от изживающих себя периодов к нарождающимся). Можно сказать и так: универсальность истории как концептуального изменения всего что ни есть иссякает по мере того, как складывающиеся одна за другой эпохи не выдерживают испытания на бессрочность. Если у какого-то явления есть два начала, то оно обладает запасом прочности. Но если одно начало замещает собой предыдущее, то надежность получаемой таким путем системы сокращается и легко рушится. Христианство нашло выход из этого затруднения в том, что сукцессивно продублировало, как говорилось, второе начало, привязав одно из них к современности, а его воспроизведение — к будущему. Поднявшаяся на заре христианства до своего высочайшего уровня сотериология постепенно приходит в упадок в процессе саморазвития социокультуры, становясь спасением не для всех, как в апокатастасисе, а только для избранных (по Божьему промыслу — в протестантизме, по классовой принадлежности — в марксизме, по расовому признаку — в нацизме и т. п.).

Редуцирование спасения сопровождается цивилизационным прогрессом — нарастанием технического обеспечения той жизни, которая рассчитана не на избывание конечности, а на окружение себя удобствами здесь и сейчас, на гедонизм. Смысл и подоплека технических изобретений в том, что они возмещают людям потерю веры в сотериологическую мощь социокультуры за счет усиления сиюминутно-бытового комфорта (инструменты войны совершенствуются, охраняя его и угрожая уничтожить цивилизационные достижения противника; в качестве техники, страхующей технику же, эти приспособления прогрессируют с опережающей прочие изобретения быстротой). Что такое компенсация, как не избавление от нехватки в данном месте и в данный час, взамен ее устранения на все времена, как не подменное спасение? Техника дает человеку топологические выгоды, она сжимает время (о чем писал в 1970–1980-х годах Поль Вирильо), делая пространство (в том числе и операций, а не только

топографическое) стремительно проницаемым. Она преодолевает пространство во времени, но не время в пространстве (что допускается наукой только в отвлечении от нашей повседневной практики — в теории относительности), не позволяет нам перебраться по ту сторону темпорального порядка. Пользователь интернета может присутствовать в любой момент жизни в любой точке глобального пространства, но вырваться из своего экзистенциального времени в afterlife он не в состоянии, какими бы аватарами ни подменял себя. Что такое так называемая «модернизация», как не техногенное наверстывание некоей местной цивилизацией исторически упущенного, как не завистливая погоня за ушедшим вперед взамен хилиастической надежды на то, что впереди всех нас бескрайнее поле вечности?

Еще одна, наряду с техническим прогрессом, компенсация, призванная выручить из опасной ситуации дегенерирующее с накоплением историзма спасение, — религиозные и социально-политические революции. Они нацелены на то, чтобы установить равенство между людьми (между клиром и прихожанами, между элитными и непривилегированными слоями общества, между колониями и метрополией), восполнив тем самым неустранимость дифференциации, размежевывающей живое и мертвое. В своем эгалитаризме революции придают второму началу взрывной характер. Их интенция онтологична. Нивелируя различия внутри общества, они покушаются на то, чтобы стереть и его выделенность из естественного окружения (в чем усмотрел их сущность Руссо), пытаются вернуть бытию человека, обособившегося в своем социокультурном строительстве воистину от всего что ни есть. Взрыв случается из-за того, что революции ломают государство, с помощью которого история, по сформулированному выше определению, добивается безраздельного главенства над людьми (духовные перевороты, соответственно, рушат огосударвленную религию). Онтологизм революций сочетается с их выпадением из истории, с их намерением утвердить естественное право взамен закона, на котором держалось государство и вместе с ним весь добытый и усложнившийся со временем символический порядок. Такое

положение вещей кратковременно. Оно не может длиться, потому что в качестве второго начала революции — события истории, разыгрывающиеся не поодаль от нее, а в ней. Революции сводит на нет внутреннее противоречие, возникающее между их онтологической целеположенностью и их включенностью в историю, в которой человек, перекраивающий данный ему мир, выступает инобытийным существом, видящим бытие из-за его края. Разрешение противоречия подытоживается в том, что революции историзуют бытие, каковое если и способно претерпеть изменение, то лишь такое, которое превращает его в небытие. Равенство всех членов общества, которого жаждут революции, реализуется в силу того, что каждый из них оказывается сопоставимым с другим перед лицом насильственной смерти. Ликующее освобождение общества от этатического диктата сменяется его подчинением новой государственности, проводящей неразборчивый террор, который косит и чужих, и своих, и врагов, и сторонников переворота. (Одно из немногочисленных исключений из этого правила — североамериканская борьба за независимость в конце XVIII века: она развертывалась в условиях отсутствия собственной государственности у британских колоний, заинтересованных поэтому в создании прежде всего конструктивной, а не карательно-деструктивной верховной власти, шедших, говоря абстрактно, от небытия к бытию). Эффект, вызываемый революциями, прямо противоположен ожидаемому: вместо спасения — если не в бессмертии, то по меньшей мере в справедливости, во всеобщем равенстве — они несут с собой пагубу. Сам себя опровергающий революционный порыв выдыхается в реставрационном повороте истории к своему издавна заведенному протеканию.

Упадок спасения становится достоянием исторического сознания в середине XIX века (в «Трактате о физической, интеллектуальной и моральной дегенерации...» (1857) Бенедикта Огюста Мореля) в проективной форме — в качестве предмета теоретизирования, посвященного экземпляру, индивидуализованному вырождению, которое не поддается коррекции. Я не буду разбираться здесь в позднейшей

судьбе представлений о дегенеративной социокультурной динамике¹. Мне важно лишь подчеркнуть, что они имеют превентивно-дефензивную функцию, предупреждая о том, что рост историзма может обернуться исчерпанием потенций, которыми обладает homo creator. Если история на подъеме, в стадии актé, в какую она вошла в XIX столетии в романтизме и позитивизме, осознает и старается отвести от себя опасность завершаемости, то предпринятый постмодернизмом шаг за порог истории, напротив, ознаменовался выдвиганием на передний план образа нескончаемого, неопределенно растягивающегося настоящего и, соответственно, отказом от восстановления первоисточков, которые, будь они зарегистрированы, не позволили бы концептуализовать современность как сугубую длительность. По убеждению Жака Деррида («Грамматология», 1967), всякое начало затмнено, дано нам в-отсутствии, оставляя лишь след (грамму) в своем продолжении (но в мифах творения оно отнюдь не кашировано, а эксплицировано — человеку свойственно реконструировать, пусть и фантазируя, рождение того, что он застает в готовом виде, потому что он несет в себе ни с чем во вселенной не сравнимую оригинальность). Анализируя в «Словах и вещах» (1966) гуманитарно-научные «эпистемы» разных веков, Мишель Фуко декларативно отрекся от исследования их генезиса. В постмодернистской модели история, оказавшаяся за своим пределом, как не финализуема, так и не иницируема (интертекстуальность в теории (1967) Юлии Кристевой — фатально безостановочный процесс, у которого нет пункта отправки). Поскольку в постмодернистском времени не маркированы ни начало, ни конец, постольку этот способ думать снимает с повестки дня исконно бывший актуальным для социокультуры вопрос

¹ Об идеях вырождения, берущих происхождение в позитивистскую эру, см. подробно, например: Dark Side of Progress / Ed. by J.E. Chamberlin and S.L. Gilman. New York, 1985. На русском — преимущественно литературном — материале эти идеи обсуждаются в: Nicolosi R. Degeneration erzählen. Literatur und Psychiatrie im Russland der 1880er und 1890er Jahre. Paderborn, 2018. К общему пониманию дегенеративных процессов в социокультуре ср. главу «Вечное вырождение» в: Смирнов И. П. Быт и инобытие. М., 2019. С. 77–108.

о спасении. Более того, для постмодернистской агенды показательно дерзкое опустошение сотериологии: в «Символическом обмене и смерти» (1976) Жан Бодрийяр призвал социокультуру к прекращению ее не более чем симулятивной борьбы с Танатосом и к признанию фактической непреодолимости смерти. Такой подход к смерти, конечно же, трезво реалистичен, но прими мы его за руководство к мышлению, нам пришлось бы зачеркнуть всю человеческую историю и отступить от социокультуры в чисто биологическое прозябание, в родовую жизнь. Что и произошло если не на деле, то в тех ментальных усилиях, какие были предприняты в последнее десятилетие прошлого века и в первые декады нынешнего по ходу преобразований, которым подверглось наследие раннего постмодернизма. В ставших в эти годы научной модой биосоциологии, биопсихологии и биокультурологии *terminus a quo* человеческой истории восстанавливается в своих правах, но опознается не там, где она зарождается в своем своеобразии, а в ее несобственном Другом, в природе. Поведение современного человека названные дисциплины объясняют приспособлением его дальних, едва вышедших из животного состояния, прародителей к естественному окружению, полному опасностей для рода *homo*, натурализуя таким образом социокультуру, рассматривая ее в качестве продукта, получаемого из выбора эволюционно наиболее выгодных ответов на вызовы среды¹. Человек, однако, вовсе не адаптировался к природе, а превозмогал ее в себе и вне себя. Он нуждается в том, чтобы постоянно пребывать в зоне риска, идет навстречу опасностям, ибо хочет быть спасенным. Мы всегда не в первом, а во втором начале, в истории, даже если она еще только

¹ Натурализация социокультуры (поддержанная экологической практикой) может совершаться сейчас и без реанимирования дарвинистского приспособительного эволюционизма. Так, для Жан-Люка Нанси человек отприродно культурогенен — «зверь человек» для этого мыслителя наделен языковой способностью анатомически, по своей физиологии (Nancy J.-L., *Benvenuto S. Liebe, Gewalt, Religion // Lettre International*. 2020. № 131. S. 49). Спрашивается: разве отприродна и семантика языка, в которой откладывается символопорождающий творческий опыт, набираемый человеком?

предисторична. Бегство постмодернизма 1960–1970-х годов из истории не прошло для нашей духовной деятельности даром, переродившись в ней теперь в преобладание над прочими подступами к социокультуре псевдоисторизма, сдвигающего начала со своих мест на чужие, полярно противоположные их собственному расположению¹. Генезис извлекается из забвения, принимая, однако, искаженный вид, втягиваясь в *quid pro quo*, так что саморазвитие человека мыслящего делается неотличимым от эволюции организмов². Что в раннем постмодернизме, что в позднейших его филиациях история расписывается в своем поражении.

¹ Киноискусство последних лет отреагировало на эту социокультурную ситуацию в фильмах о борьбе за приоритет в сфере технических изобретений и научных открытий. Таковы, например, кинокартины Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010) о конфликте вокруг дигитального проекта, принесшего в конце концов деньги и славу Марку Цукербергу, или Саймона Стоуна «Раскопки» (The Dig, 2021) о находке на Востоке Англии древнего захоронения, совершенной археологом-любителем Брауном, которого пытаются отеснить в тень представители официальной науки.

² Теперешний заново возникший интерес к генезису не ограничен био-детерминизмом, но и помимо натурализации человека он освещает начало транслокализованным. В социологии науки Бруно Латура («Наука в действии», 1987) начало открытий и изобретений перемещается из лаборатории в их подачу аудитории, в риторически организованное (речевое или визуальное) сообщение, призванное добиться контроля над реципиентами, так что производство научных фактов оказывается в изображенной так действительности конструированием артефактов и манипулированием воспринимающим сознанием. Стоит, далее, сказать, что современность может в своей вариативности обращать внимание и на секундарный генезис, как, например, в работах Шмуэля Айзенштадта, рассматривающего, наряду с первым «осевым временем», когда, по Карлу Ясперсу, сложились мировые религии и философия, также «вторую осевую эру», давшую человеку возможность самостоятельно реорганизовать устройство общества (*Eisenstadt Sh. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Part II. Leiden; Boston, 2003*). Но это второе начало означает у Айзенштадта не вхождение человека в бесперебойно возобновляемую историю, а скорее ее терминирование, поскольку оно реализуется в парадигматическом разнообразии «новых времен» — во множестве конкурирующих друг с другом проектов по социальной инженерии, не вытягивающихся в последовательность, в синтагматический ряд выводимых одно из другого явлений. И в этом случае мы имеем дело с началом, пусть и случающимся в истории, но дающим псевдоисторические результаты, порождающим синхронию, а не продолжающимся диахронно.

3

Дискурсивность неодинаково реагирует на работу второго начала в социокультурной истории. Философская речь затуманивает и нейтрализует его, неся главную ответственность за то, что оно ускользает от прямого изучения, выпадая из самосознания делающего историю субъекта. Зародившаяся в период смещения от мифоритуального общества к историческому, философия в лице досократиков нашла выход из этого кризиса в том, что интегрировала Другое в данном, позиционировав себя на более высоком уровне, чем тот, на котором приходится выбирать одну из альтернатив, т. е. принимать частнозначимое решение. Правомерно утверждать, что насущной общезначимая (философская) мысль, имеющая дело с максимальным по объему и содержанию мыслимым — с бытием, становится тогда, когда в человеческом времени прошлое теряет сходство с настоящим, требуя тем самым от индивида не просто быть, а постоянно погружаться в память о себе (и обо всем ушедшем — в анамнезис), восстанавливая расстраиваемую самоидентичность, снимая расколотость самости. Вбирание в себя тем, что есть, Другого выразилось у Гераклита в понимании бытия как непрекращающейся войны противоположностей. Правящий вселенским целым Логос не осеняет, по Гераклиту, того, для кого каждый день нов (кто отрывается от уже бывшего). Для Парменида Другое и вовсе отсутствует в бытии, к которому нельзя что-либо прибавить, путь в котором ведет бытующего всегда к одному и тому же — к исходному пункту. Перед нами не тот путь, который проложил себе *homo ritualis*, имитирующий акт творения. Парменидово бытие не возникает и не исчезает, не творится, а наличествует в абсолютной полноте того, что может открыться нам. Другое бытия — небытие, но его, как учит Парменид, нет, раз сущее — это всё. (Отличное от сущего есть ничто, повторит Парменида Аристотель в «Метафизике».)

В диалоге «Парменид» Платон во многом принял досократическое видение бытия. Единое в этом диалоге не причастно времени, равно себе и иному и исчерпывает собой всё что ни

есть. Но затем, в «Государстве», Платон доосмыслил категорию Другого. Сущее в качестве иного, чем оно есть, — кажимость, являющаяся человеку в его частных мнениях (доксе), которые покушаются — в своей распространенности, ходячести — на то, чтобы господствовать над обществом. Дабы оно не пало жертвой иллюзий, его следует перестроить так, чтобы власть над ним досталась философам, умеющим отличить обманывающее нас восприятие феноменальной действительности от проникновения в ее ноуменальную толщу, мнимость от схватываемой только умозрением истины бытия, его эйдологии. (Ноумены — следствие всезаместимости феноменов, обозначившейся с завоеванием историей владычества над людьми.) Значимым в «Государстве» становится второе начало социального человека, которое в то же самое время знаменует собой и его завершение, его восхождение к неколебимой более автоидентичности, сравнимой с той, какой располагают боги. В роли «стражей» нового порядка властвующим в нем философам предназначается консервативно охранять добытое умозрением знание о вечно сущем — об идеях, единящих свои манифестации.

В какие бы интеллектуальные перипетии ни вовлекалась в своем многовековом развитии философия после Платона, она осталась — *mutatis mutandis* — верной либо досократическому, либо сократическому (в «Государстве») способу рассмотрения бытия. Второго начала для этого способа мысле- и речеведения либо нет, либо оно служит выявлению той последней истины, на которой стопорятся дальнейшие умственные искания (в чем философия принципиально враждебна самокритично фальсифицирующему себя сциентизму, даже если она и рядится в научное облачение). Философия колеблется между растворением бытующего в бытии и такой финализацией субъекта, которая делает его конечно-вечным.

В исподволь подхватывающей досократическую традицию философии Лейбница мир с его «предустановленной гармонией» имеет под собой то достаточное и необходимое основание, какое исключает возможность улучшения его отправных кондиций. Чаще всего умствование досократического типа обнаруживает себя в таких философских построениях,